

84(2Рсс=Р4с)6

Ш 51

Л.П. Шестаков

ЖИТЬ НАМ ДОЛГО



ОТДЕЛ
КОМПЛЕКТОВАНИЯ
Култунской ЦБС

Культура
А б о п о

33339-1374

УДК
ББК
III

Шестаков Л.

III Жить нам долго. Сборник рассказов / Л. Шестаков. — Иркутск, Издательство «ИП Макаров С.Е.», 2003. — 72 с.

ISBN

Леонид Шестаков — писатель земли Иркутской, уроженец села Заваль, Куйтунского района. Работал учителем математики в г. Усолье-Сибирское. Это первая книга автора, в которой собраны наиболее яркие произведения. Его рассказы проявляют тот внутренний разлом, трагизм послевоенного поколения и в то же время излучают огромную любовь, нравственную чистоту и честность, свойственную истинно русской душе. Леонид Шестаков трагически погиб в авиакатастрофе под Иркутском в 1994 году.

УДК
ББК

© Л. Шестаков, 2003



Леонид Шестаков

Прошло почти десять лет как не стало Леонида Павловича Шестакова. Не стало как-то враз, неожиданно и невозвратно. Мы простились на иркутском вокзале, пожали крепко руки, улыбнулись и посмотрели в глаза. И все... Говорят, что люди чувствуют Приближение. Не знаю. Он всегда смотрел Ей в лицо. Неоправданно рисковал, рвал сердце бунтующим духом. «Старик, не паникуй, если что», — говорил мне часто. О нем много можно говорить. О нем хочется рассказывать. Потому что в душе его чувствовалось кипение жизни. Это был многогранный, искристый мир. Он был блестящим математиком, но не пошел в науку после аспирантуры, а выбрал путь учителя, путь каторжный и неблагодарный в России. Он был великолепным художником, и осталось много его удивительно характерных рисунков и картин. Он был талантливым музыкантом и певцом, и в Куйтунском районе наверняка многим запомнился баянист Леня Шестаков. Он был отличным разносторонним спортсменом: лыжником, стрелком и боксером. Помню в 80-м, в Красноярске, в аспирантуре, увлеченно занялся модным тогда каратэ и выписывал удивительные трюки и приемы, чем сводил нас, пацанов деревенских, с ума. Он бесстрашно бросался в сторону несправедливости, и помню случай, когда он ночью заступился за прохожего и отобрал нож у грабителей, или когда вышел победителем из схватки с шестью (!) хулиганами. Он был способен вырвать сигарету изо рта обнаглевшего курящего бугая в трамвае и поставить его на место. В нем сквозило неравнодушие к миру. Он вносил в него частицу своей души. Свое понимание справедливости. И мучался молчанием мира... Однажды мир отпустил его, не в силах, видимо, удержать душу искателя и бунтаря. «Старик, как ты думаешь, а есть ли жизнь после смерти?»... Я не знаю, отец... Но я вижу, что мир скучает по тебе...

Ю. Л. Шестаков

СОДЕРЖАНИЕ

СОБОЛЬКО	6
ЛАПТА ПЕРВОГО МАЯ	13
ЗАБЕРЕГИ (ДУМА О СОЛДАТЕ)	27
ЖИТЬ НАМ ДОЛГО	37
ВЕСНОЙ, В КОНЦЕ АПРЕЛЯ	46
ЧТО СКАЗАТЬ ТЕБЕ, МАМА?	56
СУМАСШЕДШИЙ	62

СОБОЛЬКО

Рассказ

Пес был стар, но самоуверен. Ни пыльная многоверстовая дорога, ни хлябь осенняя, ни лед в почерневшей от стужи реке не составляли ему серьезных преград, если впереди шел хозяин. Однако на этот раз он отстал еще на станции. Что могло задержать его?

— Может, подождет? — сказал я отцу, оглядываясь в заднее стекло машины. — Что-то не видать его...

— Отстал? — Отец скосил глаза в зеркало.

— Вот прохиндей старый... Наверное, с сучонкой какой-нибудь никак расстаться не может. Прибежи-и-ит...

— Должны мне скоро хорошего щенка привезти из Якутии, — продолжал он. — Этот никуда не годится. На унты разве...

Я еще раз оглянулся. Светлый коридор дороги позади тускнел, размывался сумерками. Лес отчуждался, строжал. Почему-то вспомнилось, как однажды Соболюшко задушил рысь, прыгнувшую на отца и сбившую его с ног... Помнит ли это отец? А ведь скверно могло кончиться...

Я устроился поудобнее, уже не тревожась за собаку, и стал смотреть на дотлевающее кострище заката. С детства очаровывала меня эта картина прощания... Прощание... Оно стало частым в моей жизни.

— Я спрашиваю! — уже, очевидно, в который раз отец пытался разорвать своим голосом пелену задумчивости. — В Москву-то заезжал?

— Конечно.

Отец поерзал на сидении и снова спросил уже приглушенным голосом:

— Ну, и что — она?.. Как дальше-то будете?

Там, где я служу, каждый день кого-нибудь убивают. И меня могут... То, что здесь называют неверностью, там — предательством. Неверность ранит, предательство — калечит. Или убивает. Убивает еще до того, как тебя и вправду убьют. Говорить об этом я не мог. Дальше? Знать бы самому, что дальше...

— Что молчишь?

Я заговорил как можно спокойнее:

— Не заезжал я домой. Только в садик и в школу. А к ней — не стал. Отец издал странный какой-то звук, покрутил головой:

— Высечь бы вас обоих!

Он замолчал, но в том, как стало заносить на поворотах машину,



чувствовались досада и глубоко задетое самолюбие. В былые времена он действительно поговорил бы по-другому.

И снова мои мысли вернулись к Собольке.

Когда-то у отца был мотоцикл с коляской. Надо было видеть, как он ездил на нем: всегда прямой, гордо и снисходительно поглядывающий по сторонам, аккуратно одетый. Вел он свой «М-72», как большой белый корабль в День Военно-Морского флота. Соболько неизменно бежал впереди мотоцикла. И, чутко улавливая настроение хозяина, старался ему во всем подражать. Вызывающе гордо нес он свой хвост-кольцо и пушистые галифе, не такие строгие, как у хозяина — председателя колхоза, но неизменно рождающие тупую ярость сторожевой братии из подворотен.

Бедняги! Они кидались и слева и справа, захлебываясь слюной невыразимого возмущения наплевательским отношением к собачьему этикету. Соболько же с самым беспечным видом умудрялся поднять заднюю лапу как раз над тем местом в подворотне, где в бессильной злобе плакал и рвал зубами дерево пожизненно цепной волкодав...

После ужина я еще раз вышел на крыльцо. Стыло визгнула под ногой половица... Но в подворье было тихо... Никто не встрепенулся навстречу. Вернувшись в дом, я набросил полушубок и отправился на поиск.

Далеко за поскутиной, в поле, я остановился, прислушался... В стеклянно-хрустом, ломком воздухе далеко разносилось утробное урчание электростанции. Холодом веяло от звезд... Луна светила однообразно и скучно, как лампочка в палате госпиталя...

Мой друг по академии Женька Шадрин умер под утро. Так мне сказали. Еще мне сказали, что он мог выжить, должен был выжить, но умер...

Потоптавшись в нерешительности, я собрался было повернуть обратно, как вдруг из березняка, со стороны кладбища, скользнула быстрая тень и тотчас замерла. В лунном оцепенении снегов желто блеснули капсюли звериных глаз...

Я с сомнением оглянулся: деревня рядом, — и километра не отошел, — волков же тут с войны, говорят, не было. Снова посмотрел туда, и холодом окатило спину: огибая целик, по межам, по закраинам березняка несколько распластанных теней нырками уходили к логу.

Это был маневр: лог устьем своим выходил к деревне. Через минуту-другую волки могли показаться на гребне сугробов, наметен-



ных у заброшенной силосной ямы. И тогда путь к отступлению отрезан. Вмиг представилось, как я окажусь в кольце изголодавшихся, отошавших от стужи зверей... Я уже сделал несколько быстрых шагов назад, когда где-то близко раздался протяжный стон.

«Соболько!» — догадался я, и сердце забилося лихорадочно и тревожно, как недавно еще в ущелье тех гибельных гор, когда в тебя уже стреляют, а решение все не принято...

Пес истошно взвизгнул и даже куснул меня, когда я схватил его на руки. Чувствуя пальцами теплую, липкую кровь в его шерсти, рывками, зигзагами, оглядываясь, засеменил к поскотине. Прикинул, какую из жердей проще выломить из прясла... Но, еще не добежав до изгороди, я понял, что волки не пойдут дальше: по гулким ночным улицам деревни уже катился, нарастая, разношерстный, простуженный лай собак, издали учуявших зверя...

Облегченно вздохнув, я опустил Собольку на снег, закурил. С горькой усмешкой наблюдая, как собаки выскочили на простор и тут же тушевались, смолкли, закружили на месте, не решаясь на преследование. Потом, повизгивая и урча, скромно заторопились каждая в свою сторону. Это было так похоже на то, что случилось с Женькой. Его назначили советником, но фактически пришлось быть командиром. В том, последнем для него бою, никого из наших рядом не было, и когда батальон побежал, он отстреливался один...

«А-ах, ты, боже мой! Соболько... Что же приключилось с тобой, дружище?» — я осторожно погладил его морду, которую он почему-то отворачивал, и он дернулся весь, приник к ладони, как-то безысходно, по-человечески всхлипнул...

Так, на руках с ним я и вошел в избу.

— Что с ним: искушали собаки? — всплеснула руками мать.

Я ничего не ответил. Положил Собольку ближе к печи. Мать кинулась на кухню, где загремела аптечными пузырьками. Вошел отец. Остановился перед Соболькой.

— Ну? — спросил он. — Уже и за себя и постоять не можешь, да? Ай, как хорошо!

Соболько виновато отвернулся. Его знобило. Впервые оказался он в жилище своих хозяев, и пусть не по своей воле, но переступил дозволенную границу общения с ними. И совесть мучила его. Он даже не мог себе позволить естественного любопытства, удовлетворение которого могло оскорбить и рассердить хозяев. Поэтому он и не смел даже глаз поднять, хотя все здесь было так необычно и пронизано приятными запахами...



Отец высокомерно усмехнулся. Он терпеть не мог слабости или беспомощности. Не любил, когда болели его дети или жена, когда жаловались на старость или недомогание колхозники. С собакой проще. Он брезгливо ткнул пса носком унта:

— Что отворачиваешься, а? Стыдно стало, да?

Соболько вдруг зарычал и поднял на него по-звериному блеснувший взгляд...

— Ах, вот ты как... — в голосе отца уже не было самодовольного снисхождения. — На хозяина?!

Тут пришлось мне вмешаться. Я рассказал ему о волках, что Соболько, видимо, дрался с ними.

— Волки? Да откуда им тут взяться... — процедил отец сквозь зубы и, неопределенно хмыкнув, ушел в соседнюю комнату.

Я не стал его убеждать. Знал, пустое это дело.

Отпуск мой вскоре подошел к концу. Надо было ехать. Тревожно было на душе.

Соболько поправлялся. Уже выходил из конуры, когда я выносил ему поесть, и с молчаливой благодарностью смотрел вслед, так как при мне есть стеснялся: порванные губы заживали медленно.

Отца он не подпускал к себе и пищу от него не принимал. С холодным интересом хозяин наблюдал за ним, что-то про себя решая. Это настораживало меня. Поэтому, уезжая, я сказал отцу, что если он возьмет хорошего щенка, Соболько его натаскает, да и сам еще послужит в паре...

Отец рассеянно посмотрел на собаку, робко вильнувшую хвостом, как бы в знак примирения, и ничего не ответил. Вскоре я получил письмо от матери. В самом конце, после обстоятельного описания всех деревенских событий, я натолкнулся на ударившую в глаза фразу: «А Собольку отец застрелил сразу, как ты уехал. Уж я говорила ему, как уговаривала! Другая теперь у нас собака. Ест много, трясется вся, отца пуще смерти боится. Глаза бы на неё не смотрели...»...

...Наверное, Соболько сам вышел из конуры, когда увидел, что хозяин с ружьем стоит посреди двора и никуда не спешит и одет он не для охоты. Ведь он слишком хорошо знал и по-собачьи преданно любил его.

ЛАПТА ПЕРВОГО МАЯ

Рассказ

С годами как-то чаще думается о детстве. Наверное, потому, что перевал давно уже позади, и жизнь пошла под уклон, но что-то главное в ней так и не открылось. Тайна, которая звала и торопила нас из детства, — где твоя разгадка? Какому богу служишь, если Иуда за столом твоим ест и пьет? Молчишь? Вот и я молчу. Как часто стало не хватать слов. Сиюминутных, жестких, в корень разящих. Но истина в делах житейских изменчива и многолика. Добро и зло в ней нерасторжимы, как корни единого древа жизни; и наше суесловие — не от пустого ли сердца, не от хилости ли души, трепещущей в трусливом изумлении пред вящим оком совести? Совесть. Это она вспять гонит мысли, чтобы теперь, зрелым умом и поздним уже чувством взглядеться, проникнуть в прошлое, объять и переболеть, не найдя в нем себе утешения за те горькие судьбы, которые и сквозь тебя прошли тоже, и твое есть в них участие, но на которые в должный срок не содрогнулось, не отозвалось болью сердце, — нет этому оправдания. Даже там, в далекой, таким нестерпимым теперь светом высветленной стране детства.

А детство мое было счастливым. Как-то даже избыточно счастливым. Как долгий-долгий летний день, захмелелый от буйного солнца, от сверкающей на шиверах реки, от ребячьего гвалта у парома и терпкого березового духа из разомлевших рощ. Казалось, жизнь и не может быть иной, будущее мнилось еще более замечательным. Жизнь взрослых, протекающая на наших глазах, была скучной и томительно-однообразной. Они сеяли хлеб, копались в огородах, ухаживали за скотиной, — дневное присутствие их в деревне, за исключением праздников, — тогда еще редких, — не ощущалось, особенно в страдную пору. Только поздними вечерами и можно было увидеть нам своих старших, — озабоченно усталых, грустных и молчаливых. В кротких отсветах камелька с нехитрым на нем варевом, в струях росной, огородно-речной свежести, с лиц их сходила отчужденность, глаза узнаваемо добрели, а редко, но обронят спекшиеся от зноя губы слово ласковое; рука, мозолистая, сильная плеча коснется ненароком, потреплет, взъерошит волосы со вздохом неясным, — если, конечно, порядок царит в хозяйстве, сорняк где надо выполон, гряды обихожены и куры целы... Не дано нам было тогда ума ценить святые эти, тихие минуты. Какие были думы у них? Может, и не было их, особенных каких-то, вычурно-сложных, о которых спешим мы, подчас, по-

ведать друзьям-эстетам, чтобы разделили они с нами сладость надуманной скорби о чем-то высоком, но навсегда, якобы, утраченном? Жизнь, оказывается, надо прожить, чтобы взглядевшись, наконец, в родные лица, которых зачастую нет уж давно, — не судить их, нет, — а молить о прощении... Ведь знали же они, умели беречь то сокровенное, что помогало жить тогда, когда, казалось, и выжить невозможно, но без чего теперь, когда намного легче, — жить стало неумоготу...

Играли в лапту. Широкая, яростная шла игра. Ломило пятки от непрерывного, шального бега по затверделой земле весенней; болели суставы, руки саднило от увесистых бит, годами отполированных до блеска; изорваны штаны и рубахи в поисках мяча по огородам, в кровь растрескались рты, обывалые от солнца, ярости и справедливого ора, шепеляво сквозившего в провалах недостающих зубов, — шла первомайская лапта! А день стоял такой высокий, ласковый и теплый, что казалось — лето пришло, но пушистые, громоздкие, белые облака были еще непривычны в оттаявшем небе и напоминали стремительным полетом недавний ледоход на реке, а далекая синь по-весеннему распаханного неба еще сквозила холодом. Вскоре с мавки, что за деревней в лугах, у реки справлялась, взрослые парни подошли. Заухмылялись, на нас поглядывая... За ними мужики потянулись, отмахиваясь от жен, которым домой нетерпелось почему-то. Тоже стали вертеть головами заинтересованно: как мы, зелень бо-соногая, по мячу «мажем»; изнывая в отчаянии «на заходке», — ждем, когда «матка» выручит, у которого как-никак три удара — «три руки», как чешем во весь дух, мельтеша локтями и пятками, на вторую «заходку»; как «нарываемся» потом, чтобы не уступить голящим своих привилегий в игре, — смотрели, смотрели мужики, поначалу подсмеиваясь и отпуская колкие замечания, потом вдруг замолчали, в карманы полезли за папиросами, задымили, пряча в сощуренных глазах то ли зависть, то ли тоску непрошенную, неясную, и не выдержал кто-то: «Э-эх, елочки пушистые! Да кто ж так бьет-то, а?! Эт тебе не подсолнухи сшибать... У Марунки в огороде...» И полетел с широких плеч пиджачок на бревно, кепочка замысловатым жестом к брови приплюснулась, последняя затяжечка стравлена нетерпеливо, — и в руках уже полужердь с не обглоданной еще козами низовскими корой смолистой... «Подавать» мяч такому ухарю не каждый на смелится, не меньшая нужна отвага: по руке или еще хуже — по голове заденет нечаянно — отлетит, как тот же подсолнух... Так что нам, тем, «кто только под ногами путается, размахнуться мешает», — дальнейшее участие в игре становится и унижительным, и опасным:



«вожжет» дядя такой мячиком в бок, — обмочишься, калекой сделаешься... Вылезает на заплот и наблюдаем оттуда. Хотя и на заплоте тоже опасно: бывало, вырвется жердина у мужика из рук, и уж тогда точно, — либо рама в чьем-то окне с обвальным звоном сокрушится, либо заорет кто-нибудь, катаясь в пыли, зашибленный смертно... Про мяч и разговора нет, — дюжили только теннисные, — «шерстяные», — а другие всякие рвались и разлетались в лохмотья после одного-двух ударов... Удачно забитый мяч подолгу приходилось искать в огородах, чужих дворах и стайках, лазать по заборам, топать по крышам, крайне обостря отношения с цепными собаками и хозяевами этих, — каждый год одних и тех же, — дворов и построек... Хозяева страдали от весенней лапты, как низовские от половодья. Одни даже съехали по этой причине, дом перевезли в конец деревни, чтобы обрести, наконец, покой и тишину, даже половодья не утрашась... Мяч иногда терялся, но осенью кем-нибудь случайно отыскивался во время копки картофеля, — и новость эта радостно всем сообщалась, или следующей весной вытаскивал где-нибудь, лысый, облезлый, но все еще упругий, готовый служить в предстоящих баталиях надежно и безупречно... У нас с братом был такой мяч-ветеран с самой богатой и запутанной биографией. Поэтому Ивана, — так уважительно звали брата еще в детстве, — брали в игру даже взрослые. А я наблюдал за игрой с заплота. И с такими же, как я, «оглоедми» бегал за мячом по огородам.

Я в детстве был каким-то бестолковым, неудачливым: по мячу вечно «мазал», да и в других играх, затеях ли ребячьих, где нужна была сноровка, ловкость и отвага, как-то терялся, — не блистал, в общем...

Брат даже стеснялся, что я такой.

...Словом, день склонился к вечеру... Солнце понизилось, затопив все окрест каким-то особенным, обещающим светом, и небо над деревней сделалось огромным, непостижимо бездонным. Густо шел из низин и логов запах смытой земли, пахло навозом и дымом, где-то на краю играла гармошка и веселые голоса высоко летели в засвежелом, струистом воздухе. А тесная улица стонала от тяжелого, жеребцева-то удалого бега мужиков, и входящих уже в их возраст, отслуживших и не служивших еще в армии парней...

Били по мячу, себя не щадя: с кряком, с хриплым и натужным выдохом; палица со свистом рассекала воздух, от чего жутко нам делалось на заплоте, беспокойно, — но игра шла настоящая, мужиковская: в ней было задействовано почти все мужское население от



93339-1344

ОТДЕЛ
КОМПЛЕКТОВАНИЯ
Кузнецкой Ц.Б.С.

Квартал 100
А.И.И.С.

мала до велика; у каждого была своя роль и обязанность в ней. Это объединяло, уравнивало всех нас в чем-то, это как-то остро и взахлеб чувствовалось, — и радость, и гордость распирала нас от упоительного этого чувства общности. В самый разгар игры, когда терпение «голивших» кряду несколько раз, — и подолгу, — стало иссякать, и мужики, — в начале игры благодушные, иронично-размягченные, не на шутку разобиделись, и мяч в их руках уже казался предметом не игры, а возжеленной мести, когда уже наверняка ожидалось, что вот-вот что-нибудь да произойдет, — послышался вдруг сдвленный и жуткий чей-то крик...

Но шел он с другой стороны улицы, из проулка. Очень скоро оттуда выбежала женщина. Не бежала она даже, и не семенила, — ей, наверное, казалось, что она бежит, — напряженно, всем телом стремясь вперед; одной рукой она придерживала блузку, порванную на груди, другую прижимала к заметно вздутому животу. Кто-то присвистнул весело, кто-то хохотнул, — игра тут же распалась, все смотрели теперь и чего-то ждали...

Это была Валя-счетовод, фамилию ее я не знал совсем, или не помню, но звали ее на селе именно Валя-счетовод. Она с мужем своим, мрачноватым, невысокого роста механиком, — были приезжими, около года всего прожили в селе. Муж ее как-то не запомнился, а ее, — Валю, — знали все. Да и сейчас еще вспоминают. Бабы недолюбливали ее за что-то, замолкали, в упор разглядывая в магазине или в клубе перед сеансом, фыркали вслед, называя бесстыжей и чересчур гордой, громко обсуждая в ней все, начиная от походки и кончая глазами... А мужики... Что — мужики? Они помалкивали, крикали только многозначительно, украдкой провожая ее глазами.

Помню, однажды ко мне подлетела рыжая, как огонь, Галка Сизых, почтальонова дочь, и вся светясь злой какой-то радостью, выпалила во всеуслышание, что отца моего «застали» с Вале-счетоводом в какой-то бане... И показав язык, стала скакать вокруг меня в каком-то диком танце. Я разозлился. Во-первых, я не понимал, что значит — «застали», но в том, что отец и Валя-счетовод оказались почему-то вместе в бане, виделось что-то непристойное, таинственно-темное, обидное для меня. Что-то смутное, инстинктивное пробуждалось во мне, когда я смотрел, как мать с отцом возвращались по субботам из бани, распаренные, расслабленные, объединенные какой-то тихой тайной, которая угадывалась в их лицах. Кое-какие сведения из жизни родителей просачивались и в



нашу любознательную среду, но с родителями это никак не вязалось, казалось немислимым в своей недозволенности. А тут — чужая женщина...

...На Валю-счетовода я приходил смотреть в контору, даже когда отца там не было. Она была красивая... С горечью и отчаянием я понял это сразу. И уходил оттуда огорченный, растроенный настолько, что не знал, — что же мне делать теперь, ведь что-то же надо было делать!

Хорошего, конечно, я не мог придумать: разбил как-то вечером зимой окно в их доме, убежал... Но ничего не менялось. В другой раз развалил поленицу дров у ограды и снова убежал... Ничего не происходило, никто меня не искал, в сельсовет не вызывали...

Отчаяние и боль не проходили, не отпускали мою оскорбленную душу, и не знаю, до чего бы я еще мог додуматься, если бы однажды не столкнулся с ней на улице, когда я вез на саночках в ящике конские шевяки с конюшни... Мать их обычно запаривала с картошкой и отрубями, толкла и кормила свинью и куриц.

Но я почему-то стеснялся, если кто-нибудь из ребят или учителей видел меня с этим «грузом». А тут — она... Я не знал, куда смотреть: было стыдно и одновременно закипело во мне все, чему не было до той поры исхода, — обида и ненависть горячей слюной забили горло... Я не мог вымолвить слова и... боялся расплакаться. А она стояла, улыбалась и молчала, ласково разглядывая меня. В ботинках, в шубке, руки держала в пушистой муфточке. Так у нас никто не одевался. Даже Елизавета Леопольдовна, учительница немецкого языка...

Наконец, она сказала: «Здравствуй.» Я не ответил. И почему-то стоял тоже. «Ты за что меня не любишь?» — спросила она. Тут я на нее посмотрел. Она перестала улыбаться, нахмурилась, а потом отвела глаза в сторону, задумчиво покачала головой и вдруг снова улыбнулась, посмотрела лукаво: «А вот если бы ты был большой, — разве бы не любил меня?» Тут, наконец, мои зубы разжались. С трудом я протолкнул какой-то едкий ком в горле и прохрипел: «Я бы тебя убил». Она отшатнулась испуганно, заморгала часто, глаза ее синие заблестели вдруг влажно, губы приоткрылись... Но я уже рванул за веревку свой повозок и заспешил прочь, не оглядываясь...

... Ни стонов, ни рыданий, ни криков о помощи мы не услышали. Она бежала молча, как-то сломленно откинув голову, и глядя перед собой тоскливыми, незнакомо-дикими глазами. Она никого не виде-



ла, не хотела и не могла видеть. Откуда, от кого могла быть ей защита? К кому она так стремилась?...

Вам интересно узнать, а что же будет дальше?

**Тогда скорей в
Куйтунскую Центральную библиотеку
за книжкой.**